

- Очень, — так же тихо ответил Станислав Семенович. — Спасибо.
- Да ладно... Привет Одессе...

Расположившись в кресле, Станислав Семенович развернул газету. Это была русскоязычная "Горизонт".

"... Что делает публика, когда ей не хватает мест? Правильно, уносит из ближайшего парка скамейки в зрительный зал. А когда и этого недостаточно, публика просто стоит. Так все и было на двух концертах, на двух фейерверках, которые рассыпал над Сиднеем праздничными огнями народный артист Станислав Овсяник. Так все и будет, когда он придет к нам в следующий раз. Дай-то Бог!"

Станислав Семенович опустил газету на колени, прикрыл глаза и замурлыкал себе под нос: "Хороша-а страна... Австра-а-лия... а Одесса лучше всех..."

Р. С. Такая, или почти такая история случилась с народным артистом Украины С.С. К-ком. Автор просит извинения за возможные неточности, которые, естественно, не могли не возникнуть, поскольку сам он при этом событии не присутствовал, а пользовался рассказами других и даже слухами. Вот так в Одессе рождаются многочисленные мифы и легенды. Автор надеется, что и эта история займет в их ряду достойное место.



Crescendo

Снова дома

Я вернулся в Одессу летом сорок пятого года. Недавно закончилась война с Германией.

Поезд пришел на разбитый вокзал. Не было легкой стеклянной крыши, и перроном служили пружинящие под ногами доски.

Розовое солнце раннего утра освещало платаны Пушкинской улицы. На всем ее протяжении мне встретились два человека, это были дворничихи с метлами. Мои шаги казались слишком громкими.

На Соборной площади у дома Попудова, как и прежде, дремали на козлах извозчики в ожидании седоков. Я тут же вспомнил, как мама посылала меня в этот дом за фельдшерницей, чтобы сделать укол морфия. И отдавала фельдшернице приготовленные под подушкой пять рублей.

Кстати, извозчиков я в Куйбышеве не видел. Очевидно, не было кормов.

Окна в нашей парадной были забиты фанерой, уцелело несколько цветных витражей наверху.

Мачеха открыла мне дверь и громко заплакала. Остатки батальона отца попали в плен на мысе Херсонес под Севастополем. Это был последний день обороны, четвертое июля сорок второго года. Евреев расстреляли. Отец сам вырыл себе могилу. Украинцев отпустили домой. Об этом ей рассказала медсестра, все происходило на ее глазах.

Брат мачехи Виктор умер за несколько дней до освобождения. У старшего Калягина был инсульт, он на пенсии. "Идем, я тебе покажу наше место на кухне".

Она спешила на работу, счетоводом в каком-то учреждении, и ушла.

На выгоревшем сукне письменного стола лежало лопнувшее литое стекло, отец когда-то разбил его кулаком в пылу ссоры с тещей, Клавдией Осиповой. Мамин портрет над письменным столом уже не висел.

На полочке у моей железной кровати стояли те же книги: "Жан Кристоф" Роллана, я купил ее в букинистическом магазине перед войной, "Детство" и "Мои университеты" Горького. Впоследствии я узнал, что мачеха сожгла в печке отцовый юбилейный том Перекопской дивизии, но не при немцах, а когда вернулись наши. Она была напугана, все, побывавшие

в оккупации, проверялись НКВД. А в томе были "враги народа". И первое издание сочинений Ленина сгорело по той же причине.

Я поспешил к Соснову, мы с ним вместе призывались в сорок первом. У него никого не было. Напротив, в парикмахерской, девушка-ученица постригла меня. Меня опьянили неуверенные прикосновения нежных рук.

Таким было мое состояние этим летом.

Из парикмахерской я пошел на Ланжерон, выкупаться и посмотреть на море. В парке Шевченко миновал запущенный стадион, где перед войной в многотысячной толпе слушал цековскую лекторшу из Москвы. Вспомнились ее слова о "свининке", которая "поплывет к нам из Болгарии".

С уцелевшей колоннады Хаджибейской крепости на высоком берегу открылось синее море и белый Воронцовский маяк. Потом я узнал, что каменная башня маяка была нами взорвана при уходе, а это временное деревянное сооружение.

У причалов были пришвартованы считанные суда. Ко мне навстречу из порта доносилась музыка из репродуктора и свистки маневрового паровоза.

По правую сторону лежал Ланжероновский пляж. Я сбежал к нему по крутой глинистой дороге цвета ржавчины. Такого же цвета были успешные испечья под солнцем обрывы к морю.

Выкупался и лег на гальку обсохнуть. Рядом, с пористого, как пемза, каменного пирса удили рыбу. Сквозь смеженные веки проникало розовое солнце. У ног монотонно шумело море. Трудно было поверить, что я приехал всего несколько часов назад.

Я шел через город домой. Разрушенные дома попадались редко. Мне встретились два-три трамвая.

У Соснова мне открыла дверь седая женщина в очках с синеватыми толстыми стеклами, его мать. Ожидая призыва в казахской МТС, я представлял себе, как после демобилизации я в военной форме приду к Соснову. Действительность не оставила места ни военной форме, ни Соснову. Он был ранен в бедро во время нашего наступления под Сталинградом и истек кровью. Незадолго до этого выпущен из военного училища лейтенантом. Я не пытался представить, что думала его мать, видя меня невредимым.

Я возвращался пустой улицей, без людей. Во дворе то же. Я помнил его шумным, все кипело, жили и в подвалах, на антресолях, в ваннах и проходных комнатах, летом звуки выносились из открытых окон, выплескивались во двор.

Теперь во флигелях оставались считанные жильцы. Не доносятся звонки трамваев с Садовой и Преображенской улиц, утробные гудки пароходов.

Вечером по стенам флигелей двигались гигантские тени. Это в комнатах напротив ходили перед керосиновыми лампами. И многие окна стояли черными, за ними никто не жил. А над крышами сияла луна.

Квартира наша тоже опустела. Мадам Щедрович, соседка, с дочерью и внуком умерли от голода в гетто в Доманевке под Одессой. Доманевские крестьянки по пути на одесские базары приносили от них записки с просьбой передать оставленные мадам Щедрович у соседей вещи. Известно, попадало ли им в гетто что-то.

Мы долго сидели с мачехой этим вечером, я слушал ее без конца. "Незадолго до сдачи города отец приехал на двуколке с ездовым на Малороссийскую. Мы были уже в окружении. Он стал на пороге: "Не касайся меня, я весь во вшах!".

Мы с мамой вскипятили выварку воды выкупаться, белье в огонь, гимнастерку выварила. Он сидел на диване, сокрушенно качал головой. Он думал, что ты попал к немцам".

Она ходила в порт проводить отца. Батальон грузился на транспорт "Нева", чтобы идти в Крым. Отец упрекнул: "Что ты меня оплакиваешь? Вернись!".

Уместно добавить, что победитель Красной Армии в Крыму Э. Манштейн пишет, что в его войсках директива Гитлера о "комиссарах" (расстреливать всех попавших в плен политработников и евреев) не применялась. Приходится гадать, столь ли достоверны остальные страницы его мемуаров "Утерянные победы"? И пожурить судьбу: не тому дала нашего Мехлиса. Не Козлову надо было — Манштейну! Он бы и до Крыма не дошел.

"Но какие базары!, — не могла забыть мачеха. — Сколько открылось магазинов! Все было. Рестораны, масса бодег, забегаловок. Откуда только взялось? Как из-под земли".

Когда я, наконец, лег на свою железную кровать, передо мной появились забытые за четыре года коричневые створки высоких дверей и над ними слегка запыленный лепной карниз потолка.

Все было не так, как я представлял себе, было хуже.

Наутро после освобождения города соседка в очереди за хлебом толкнула в изумлении мачеху: "Смотрите, жиданка идет!". По другой стороне улицы шла женщина.

Из моих оставшихся в Одессе одноклассников-евреев не уцелел никто. Я встретил на улице дядьку Алика и спросил, где Алик. Он ответил вопросом: "Где Алик?". Борис, которого в свое время исключили из школы за "срыв" уроков, воевал под Крыжановкой в истребительном батальоне. Был ранен, переполненные госпитали не в состоянии были эвакуировать морем всех. Его забрала к себе девочка из соседнего с нами дома. Соседи же его выдали.

На площади перед церковью на Новом базаре расстреляли задержанных в облаве. Я ходил по наспех заброшенным ямам общего захоронения. Но на них уже выросла трава, и только ее я видел.

Мне встретилась во дворе мадам Мауэр, обняла. Она несколько не изменилась. Как будто те же прицепившиеся к черной одежде кошачьи шерстинки, довоенные.

Ее дочь Лена мне, школьнику, нравилась. Но я не смел даже подойти к ней. В том возрасте разница в два-три года непреодолима. Мы были почти незнакомы.

И вот с началом войны она неожиданно останавливает меня на улице и говорит, что я могу поступить в ее институт, принимают без экзаменов, по аттестатам. Но должен поспешить, потому что железнодорожное сообщение уже прервано, завтра студенты и преподаватели уходят пешком в Николаев.

Я недавно кончил школу, консервный институт меня не привлекал, но возможность идти с Леной пешком в Николаев, ночевать в степи показалась заманчивой, и я побежал домой за аттестатом.

В отличие от мадам Мауэр Лена изменилась. Даже привлекательный оливковый цвет лица стал мучнистым. Неужели я мог ею увлечься? Я со смущением подошел к ней. Она окончила консервный институт в эвакуации в Казани, уже работала. Если бы я не потерял ее по дороге в Николаев и добрался со студентами до Казани, наверное, был бы уже инженером-пищевиком, как Лена. Но варить томатную пасту?

Мы больше никогда не останавливались говорить. Но, проходя мимо, я читал в ее взгляде, что она помнит. Мне даже казалось, что она догадывается, почему я пошел за ней в Николаев. И помнил тоже. К тому же еще понимал, что, не увлекшись, не последовав за нею, я бы остался в Одессе и разделил судьбу моих сверстников. Наверное, так мне выпало, что незнакомая девушка Лена остановила меня на улице.

Но что я теперь мог ей сказать?

"Ушли гимнастерки, вернулись погоны"

С наступлением осени мы с мачехой разделили комнаты. Топить большую, на две комнаты, голландку было нечем. Тетя Меня поставила у себя казанок. Уголь и дрова на растопку вместе с обедом ей возила трамваем с Малороссийской Клавдия Осиповна.

Мачеха была растеряна и беспомощна. Она принадлежала к типу женщин, кто должен был прислониться к кому-то, чтобы жить.

На Малороссийской тоже все переменялось. Незанятый табурет Виктора в прихожей между столом и дверью с вытертой его плечом краской с порога бросался в глаза. На столе вместо теплого пахнущего канифолью приемника — бутылочки из аптеки. Волоча ногу, старик Калягин медленно шаркал по комнатам, где все, до приколотых к стенам уже пожелтевших салфеток, оставалось прежним.

Но голоса из этой квартиры ушли.

Единственными звуками были треск огня в плите на кухне, да время от времени Клавдия Осиповна разгоняла свою изящную, с вытянутой шей, как у гончей, зингеровскую швейную машинку.

Вернулась с эвакуации ее старая заказчица, профессорская жена Ладчик. Появилась новая — мадам Кириченко, супруга местного партийного вождя. Говорили, что он занял для себя особняк за углом от нас, на улице Петра Великого. Там был детсад. Детей куда-то переселили.

"Ушли гимнастерки, вернулись погоны", — шепнула Клавдия Осиповна.

У меня был перевод из куйбышевского индустриального института в одесский. Но оказалось, что здесь совсем другая программа, и мне нужно досдать несколько предметов. Меня согласились принять только на второй курс. Это значило терять год. Я поспорил, пригрозил пожаловаться и больше туда не ходил.

Той же осенью я поступил в университет. Скоро я ушел и оттуда, в театр, но успел коротко подружиться с сокурсником, мальчиком незнакомой мне среды, Димой Юшкевичем. Его отец, генерал, командовал Одесским военным округом.

Юшкевичи жили на Большом Фонтане, в особняке, который до них занимал опальный Жуков, пока его не услали еще дальше, на Урал. Дима нехорошо говорил о нем, очевидно, слышал от отца.

Он развлекался, передразнивая мастера, починившего стоячие кабинетные часы, генеральский трофей из Германии: "И зачем такие часы?.. Это же шкаф! Я уже не говорю за маленькое римское личико". Адьютант,

отражаемый паркетным полом, внес в комнату поднос с красноватым чаем в высоких стаканах в подстаканниках.

Отвозя меня домой, Дима остановил "Виллис", набрать камни, и на предельной скорости всадил их в ветровое стекло встречного грузовика. Это повторилось с последующими. Звон разбитого стекла несся за "Виллисом" командующего по тихому ночному Фонтану.

Эти всплески хулиганства сочетались у Димы с покладистым характером и даже душевной незащищенностью. Последнее, а также, надо полагать, прогулки на "Виллисе" влекли к нему сокурсниц. На этой счастливой для него поре я потерял Юшкевича из вида.

Но впечатление от посещения генеральского дома оживало все чаще. Мачеха сблизилось с сотрудницей, женой директора электростанции, и бывала у них. "Ты бы слышал, что они с гостями говорят! Бедный батя, за кого он погиб?" В университете передавали реплику ректора Савчука, бритоголового, с опущенными вниз запорожскими усами: "Цэй народец...". Дозволенными атрибутами утерянной казацкой воли оставались колбаски усов и погромный лексикон.

Впрочем, не церемонились и с украинцами. Уехал по партийной мобилизации в "район" мой новый сосед, кузнец. Он жаловался на кухне, что должен ехать больной гриппом. Спустили уполномоченных на села вывозить из колхозов последнее по распоряжению Хрущева. Впрочем, его ли? Очень натурально представить себе нетерпеливый голос по прямой связи из Москвы: "Ви там у себя засахарылыс!".

Но войдем снова ко мне во двор.

На антресолях над мадам Бауэр жили муж и жена. Я не знал их в лицо.

Но вот я услышал, что они отравили себя. Открутили вентиль на баллоне у газовой плиты. Говорили об этом глухо, как если бы это являлось государственной тайной. Похоже, так и было, они ждали ареста.

К тому времени все закоулки в доме, где могли жить люди, были заселены. И где люди жить не могли. Например, в подъезде дома. Там поселилась Маргарита со Спартаком, сыном. Кончилась их ссылка как членов семьи "врага народа", и они вернулись, ожидая, что им отдадут их бывшую квартиру. В ней, конечно, жили уже другие люди. И они отгородили угол в подъезде шкафом и фанерой, ожидая решения своего квартирного вопроса.

Стояла осень. Подъезд был вымощен столь обычными в Одессе вулканическими плитами, прохладными даже летом. Теперь они, синего цвета, побелели от инея. В этом закутке с далеко не достающим до высоких сво-

дов подъезда ограждением из шкафа и фанеры, надо думать, Спартак готовил уроки, — его приняли в школу, в последний класс.

Маргарита, уже седая, потерявшая акцент, останавливала жильцов, просила подписать заявление в исполком, что до ареста мужа она проживала в этом доме. За ограждением жужжал примус.

И опять, как в 37-м, они вдруг исчезли. Кажется, грекам разрешили вернуться на родину. На этот раз им повезло.

Мои лучшие дни

В нашей, а потом мадам Щедрович комнате с балконом поселили упомянутого мною кузнеца, он работал в мастерской инвалидов войны на Новом базаре. Жена кузнеца Аня иногда приносила мне в комнату тарелку мясного супа с фасолью под благовидным предлогом: "Попробуй, ты такой себе не сварись". С хлебом.

Отказаться я был не в силах, но старался вернуть долг, помогая их дочери, школьнице, готовить уроки по математике. Я вспомнил, что работал в сельской кузне на Волге и попросил соседа взять меня в мастерскую подручным. Но место уже было занято. Впрочем, вряд ли моей решимости работать хватило бы надолго.

Я предпочитал проводить время за книгами. Голод не казался мне чрезмерной за это платой.

Жизнь доставала меня по касательной. Книги, искаженное ее отражение, полнили меня. Шумы жизни доносились как бы издалека. Отсюда беззаботность. Я мог бы сравнить это время с проведенным на полевых работах: вокруг ни души, скрипит на ухабах дороги влекомая волами арба с сеном, над головой в голубом небе с тонким звоном носятся птицы, и славно греет сентябрьское солнце.

Эта осень в Одессе тоже была сухой и теплой. Как и в школьные годы, я проводил много часов в Публичной библиотеке с приятным, как легкое опьянение, головокружением от долгого чтения. Или голода. Возобновилась "чахотка". От нее я счастливо избавился, работая в МТС в казахской степи в годы войны. Но от Одессы до той степи было далеко. Я решил, что и теперь как-нибудь обойдется.

По дороге из "Публички" домой я отоваривал хлебный талон, получал шестьсот граммов черного хлеба. По карточке полагались и другие продукты — в незначительном количестве, но за копейки. Так же мало стоило жилье. Если бы я продал дневной паек хлеба, денег хватило бы

полмесяца покупать продукты по карточкам. Мне не пришлось этого делать, потому что тетя Дора иногда присылала мне из Куйбышева немного денег. Мне досталось кое-что из трофеев, привезенных моим родственником Евгением Исаевичем из Германии. Бальные лакированные туфли с острыми носами времен Веймарской республики добросовестно служили мне зимой и летом.

В них я пошел поступать на работу в Русский драмтеатр. Меня приняли во вспомогательный состав. Несмотря на разруху и нехватки, театру давали электричество, и полотеры натирали полы. Мы занимались теорией сценического искусства и выходили на сцену в спектаклях в немых ролях. Актерское искусство преподавал главреж. Он носил очки с толстыми стеклами, за которыми расплывались глаза, и казалось, что они смотрят в разные стороны. Тем не менее, он прямо вел театр по классическому руслу, отклоняясь по звонку с Приморского бульвара, где тогда помещались партийные власти, на пьесы Корнейчука и ему подобных. Ставились и водевили. В одном из них я впервые вышел на сцену.

Актерским клубом служил театральная буфет с большим алюминиевым чайником, всегда кипящим. Новости здесь можно было узнать раньше, чем они вывешивались в приказе. В один прекрасный день стало известно, что актерам вспомогательного состава карточки выдавать не будут. Это была первая ласточка послевоенного голода на Украине. Опять на Украине.

Привезенную из Куйбышева пьесу я решил отнести в соседний театр, Советской Армии. Показать в своем у меня не хватило смелости. Меня позвал к себе главреж Заславский. Он болел и принял меня, сидя на кровати. Листы моей пьесы были разбросаны по простыне. Заславский говорил о сцене, любви, она всем движет. "Сладкий женский пирожок", — так он выразился.

Было тепло, сумерки. За открытым окном шумела улица. Режиссер был не старый, шутил. Наверное, врачи обещали выздоровление. Я ушел, тоже обнадеженный.

Стояла первая послевоенная весна. Недалеко от театра, на Соборной площади, у меня было свидание. Улицы снова людные, оживленные. Уже горели фонари, звенели трамваи.

На Соборной площади кусты от пыли серые. С тех пор, как сошел снег, ни капли дождя. На голых газонах обертки, окурки. Шорох шагов по перетертому подошвами гравию, пыль из-под ног, ею пахнет вечер. Голоса, смех. Люди жадно возвращались жить.

Однажды, когда я набирал из дворовой колонки воду, ко мне подошла соседка из флигеля, Евдокия Ивановна, с лоскутом легкой материи. "На, возьми. Упало с вашего окна, когда твоя мама шила платье". Веселенький синий ситчик в белую крапочку. Платье молодой женщины.

Пьеса моя дальше Заславского не пошла. Я остался без продуктовой карточки и должен был уйти из театра. Кто-то надоумил меня подрабатывать в газете, пока я не устроюсь где-нибудь, где дают карточку. В отделе культуры местной газеты "Большевикское знамя" мне поручили написать о школьной библиотеке. Но публикации этой заметки я не дождался. Зато отделу промышленности давали больше места, приоритет индустрии, и здесь мои информации "Больше электроэнергии!" или "Растут цеха" попадали даже на первую страницу. Очевидно, я уподобился радиокорреспонденту, о котором услышал от Клавдии Осиповны: "Стучите вилками по тарелкам!" (пустым). Проценты перевыполнения плана и достижения передовиков должны были, по всей вероятности, быть не те и не такие. Но мне их давали в парткомах. Это были официальные цифры и утвержденные имена. Кроме этих имен и цифр моя информация ничего не содержала. Еще несколько реплик передовиков, придуманных. Я к ним ходил знакомиться в цех, но, конечно, ничего подобного они не говорили. И несколько прилагательных в превосходной степени.

За эти 20-30 строк я получал в бухгалтерии 15 рублей. Кирпичик черного хлеба на базаре стоил сто. В месяц мне удавалось напечатать две-три таких информации. Едва на полкирпичика.

Однажды я приехал за информацией на Молдаванку, на завод, где работал мой отец. Сотрудник, прочитав отношение из редакции, спросил меня о его судьбе. Эту заметку в газету я писал с совсем другим чувством. Может быть, поэтому ее не поместили.

Но газета меня привлекала. Даже дом редакции на нарядной Пушкинской улице, запах полиграфической краски и гуд типографских машин на первом этаже, гигантские катушки бумаги во дворе. Треск пишущих машинок, остряязычные люди за письменными столами.

Я не догадывался об обстановке в типичном советском учреждении, да еще "идеологическом", на что, будучи уже в опале, горько сетовал Бухарин, и иногда пускался в рассуждения. Завотделом, человек с длинным лицом интеллигента и в массивных роговых очках, слушал меня. Какая-то задняя мысль отражалась на его лице. Я не пытался прочесть ее. Еще жива была эйфория совместной с западными демократиями победы над

фашизмом, а постановление "О журналах "Звезда" и "Ленинград" только "подрабатывалось" на Старой площади.

Когда я с заказом вышел из комнаты, литсотрудник курил в коридоре. Он слышал наш разговор и предупредил меня: "Только не ходите по причалам в темноте. В порту со случайным свидетелем может случиться что-то нехорошее".

В том же доме на втором этаже, под "Большевистским знаменем", находилась редакция украинской "Черноморської комуні". Иногда я относил непринятую информацию с третьего этажа на второй и наоборот. Предварительно переведа.

Об увертливости редактора "Черноморської комуні" ходили легенды. Вот одна из них.

На очередной "пятиминутке" редактор потребовал очерк о передовике производства, самом что ни есть работаге, что-нибудь по металлу: токарь, слесарь и т.д. Молоденькая литсотрудница (не заводделом) выскочила: в отделе лежит готовый! Последовали обязательные вопросы: "Коммунист?", "Участник Отечественной войны?", "В парткоме согласовано?" и т.д. На все вопросы ответы положительные. Редактор удовлетворенно постукивает авторучкой по стеклу: "Добрэ, дужэ добрэ! Завтра ж друкуваты. 3 фото!". Фотографа тут же отправляют на редакционном трофейном "опеле" на завод мельничного оборудования, где трудится передовик. Переходят к следующему вопросу. Вдруг редактор спохватывается: "А як передовыка прызвыще?". Имя и фамилия явно еврейские. Наступает красноречивое молчание. Редактор взбешен, по лицу видно. Дура, так подвела! Но уже как бы просветление озарило. "Чекайтэ, чекайтэ! Дэ пэрэдовык працую, вы кажэтэ?" Растерянная литсотрудница повторяет. Редактор, с легким укором: "Так то ж харчова промысловысть! Я ж вас за важку пытаю".

Университет

Снежная холодная зима сорок шестого — сорок седьмого года застала меня в университете. Часто по карточкам не выдавали хлеба. Однажды не привозили хлеб три дня подряд. Мы съедали болтушку в студенческой столовой, это было все. Нас собрали, все курсы, в актовом зале. С "разъяснением" выступил парторг университета Фролов. Оказалось, стал на ремонт хлебзавод. Трудно было в это поверить. Тогда почему не выдают пакек мукой? У Фролова было широкое лицо в грубых морщинах, облик ра-

бочего-большевика времен гражданской войны, суровые времена. Хриплый, как будто сорванный на митинге голос. Он шутил: жена не догадалась засушить сухарей. Значит, и он в таком же положении? Это подкупало. Уверил, что партийные органы бросили на ремонт все силы. Завтра хлеб должен быть.

Завтра хлеб мы получили, очевидно, в город завезли муку.

К тому времени я уже был женат. Ада, моя жена, училась в пищевом техникуме и приносила с практических занятий на пивзаводе необмолоченный овес в сапожках. Этот овес мы мололи в мясорубке. Из него получалось несколько ложек каши. Каждая из них влекла лагерь за хищение государственной собственности. Аду научили надевать на практику полу-сапожки с голенищами раструбом работницы завода. Голодали и крали все, кто мог. О том, что делалось в порту, я имел представление из реплики литсотрудника.

Я попал снова на первый курс истфака. На курсе было много демобилизованных, уже мужчин, совсем непохожих на мальчиков набора прошлого года. Аудитория рябила гимнастерками и кителями с нашивками за ранения и планками орденов. Остальные были мальчики и девочки со школьной скамьи и два-три заблудившихся вроде меня.

Демобилизованные украинцы, члены партии, намечались по окончании университета в аспирантуры и партшколы "укрепить национальные кадры идеологического фронта". История оказалась идеологической наукой. Справедливость требует сказать, что недружелюбия с их стороны к невоевавшим, евреям тоже, я не замечал. Даже когда начали разоблачать "космополитов" и "низкопоклонников".

О том, что творилось на кафедрах, я получил представление случайно. Торопясь как-то опустевшим вестибюлем на лекцию после звонка, я услышал обрывок разговора профессора Розенталя с деканом факультета Чухрием. Черный, со впальми щеками, шея торчит из слишком широкого воротника кителя, Чухрий шел в деканат, не приостанавливаясь слушать. Розенталь, стараясь сохранить достоинство, следовал за ним, что-то говорил. Холеное лицо Розенталя дрожало: крупный нос, массивный подбородок, каждая морщина. Чухрий неохотно ронял слова.

Розенталь был Николай Николаевич. С открытием кампании против "космополитов" он в курс истории Средних веков вкраплял детские впечатления — как его, ребенка, ставили в церкви на колени помолиться "боженьке". Ничего не помогло. Ведь разоблачали не за национальность, крещен ты или нет — тоже частное дело, у нас свобода совести, а за "низ-

копеклонство". Его фамилия исчезла из расписания вместе со Средними веками.

Их заменили другие курсы и другие люди. Чухрий читал Историю СССР из вузовского учебника, положив его на кафедру с бортиками, чтобы не видно было книги из аудитории. Доцент Владимирская клеймила Николая Второго за реакционность — без конца "отсрачивал" реформы.

К счастью на факультете оставались ученые люди, не евреи и, значит, не подлежащие чистке: Добровольский, Болтенко, Алексеев-Попов. О древнем Гаталове-Готлибе ходили слухи, что он был воспитателем одного из цесаревичей, что могло быть и правдой: в наивные царские времена выкrestы были приняты всюду. Например, генерал Алексеев, начштаба Николая Второго в годы Первой мировой войны, происходил из кантонистской семьи. А до него адмирал Нахимов. А.И. Деникин писал о семи своих сокурсниках по Академии генерального штаба, евреях-выкrestах. Шестеро из них дослужились до генералов. О Готалове ходил анекдот, что, когда он приближался к окошку бухгалтерии получить зарплату, студенческая очередь за стипендией расходилась: Готалов уносил в обширных карманах мешковатого пиджака дневное поступление из банка. Его тоже уволили.

Кампания разоблачения "космополитов" до студенческих скамеек не докатилась, но все же кто-то полущутья-полусерьезно попытался у Горшковича: "Ведь твоя настоящая фамилия Гершкович, правда?". Горшкович, демобилизованный офицер, отбивался, как и Розенталь, детскими воспоминаниями: его в школе дразнили "Горшок". Не знаю, убедил ли, но дальше этого дело не пошло. Какая-то вакханалия. Остальных: Гальперинных, Фуксов, даже Бранд-фон-Бренера — ни о чем не спрашивали, с ними все ясно.

Среди этих последних выделялся мальчик с внешностью Молотова, но без его усов — Абрамович. В нем все было от прозелита, соблазненного научно-партийной карьерой марксиста: лексикон, беспощадность суждений. (Не явился на собрание? — "Отнесемся со всей строгостью!". Или: передовицы газет, пестрящие еврейскими фамилиями разоблаченных "беспачпортных бродяг"? — "Так они и есть такие!") Более серьезное обвинение: "Убийцы в белых халатах", за которым в морозном тумане уже проступали контуры биробиджанских бараков, появилось после нашего выпуска из университета.

Но вот что в нем настораживает: если протаптывал себе дорогу вверх, то как было не избавиться от фамилии, с которой споткнешься на первой же

ступеньке? Изменить фамилию легко можно было и тогда. Нет, не захотел!

Что это? Донкихотство, мальчишеский вызов: вот как должно быть! Какой ни есть, а протест.

И перед нами совсем другая натура!

Пригожий, с заметной офицерской выправкой Борис был живым отрицанием мальчика Абрамовича. Он скрыл свое еврейство и спустя несколько лет получил кафедру в Ужгородском университете. Делать партийную карьеру его все же не отобрали: здесь нутром чуяли не "своего", даже если у него в паспорте стояло "украинец".

Своим фельетоном "Бюрократ в медицинскому халаті" в университетской многотиражке он на три года опередил самого Сталина, автора "Извергов в белых халатах" в "Правде". Но объектом клеветы избрал не светил медицинского мира, а какую-то несчастную врачуху студенческой поликлиники. Очевидно, по указанию партбюро.

Конец его был печальный. Будучи на иногородней конференции, скончался ночью в номере гостиницы от инфаркта: некому было вызвать "скорую помощь". Кто знает, может быть, и не так легко ему досталась его благополучная "коренная национальность".

Не всегда судьба таких людей плачевна.

В те годы в университете арестовали нескольких студентов за "антисоветскую агитацию". Видимо, говорили между собой более или менее откровенно. Их отправили в лагерь. Одного "в виде наказания" исключили из Одесского университета. Но скоро приняли в какой-то другой. Он стал писателем. Инфаркта у него не было.

Я хочу закончить воспоминания об университете в мажорном тоне.

С четвертого курса у нас ввели занятия на военной кафедре. Ее возглавлял генерал Дульщикова, седовласый сухошавый старик, похожий на Суворова. Он преподавал тактику. Кроша мел на малиновые лампасы, чертил на доске расположение батареи, наблюдательного и командного пунктов. "Пораженную выстрелами батареи площадь, — он обводил круг и принимался его заштриховывать, — мы для наглядности заштри... Что?", — оборачивался к аудитории. Исключительно мужская аудитория громкогласно и охотно заканчивала за генерала. В течение двухчасовой лекции не раз приходили ему на помощь.

Несмотря на такое учение, вместе с дипломом историка мне при выпуске присвоили звание лейтенанта запаса дивизионной артиллерии.